

ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ

АККОРДЕОН В ЧАБАНСКОМ ДОМИКЕ

Сверкающий палевыми, розовыми перламутровыми пластинками. Ряды длинных клавишей. Руки чуть тронут, раздвинут меха — чутко откликнется, оживет аккордеон, зазвучит мягко, певуче, словно ветер по листьям, по росистой траве.

Тронет еще.

Шире растянет меха.

Пальцы пробегут с клавиш на клавиши — и польется мелодия. Тесный чабанский домик в музыке, в ее переливах. То громче, звучнее, то снижаясь, почти умолкая, уходя в нежные, прозрачные звуки — тонкие и умиротворенные.

Замолкнет музыкант, задумается, куда-то взглядывается. Может быть, он следит непонятным для нас образом за убегающей мелодией? Вся она в воздухе, в его зыбкой, ничем не ограниченной стихии...

Чуть склонив голову, музыкант вслушивается в нечто такое, что мог слышать лишь он. Не видя меня, не замечая неяркого огня керосиновой лампы на столе, весь уйдя в себя, — какое-то мгновение молчал. И молчал аккордеон. Это мгновение показалось мне долгим и полным значения. Сама тишина воспринималась, как некая прелюдия к тому, что ожидалось, что неизбежно должно было последовать... Мнилась степь в своей перевозданной шире, во всей своей неоглядности. А сверху такая же неохватная просинь небес без единого облачка.

Незаметно ожили пальцы мужской

руки. ...Это ветер тронул сизые травы, принес вечно древний и вечно юный эфирный дух полыни. Горький и сладостный, как самое дорогое и самое печальное воспоминание.

А пальцы жили своей волшебной жизнью, легко передвигались по перламутровым клавишам — то сумеречным, ровно окрашенным в неброские цвета, то сверкающим в световых переливах лампового огня.

...Это неслышно занимается степная заря. Растет цветonoсная утренняя краса. В песнях, что поют сельские девчата, ее ласково зовут зорькой.

Рано-рано поутру зорька

занимается,

Я туманником пройду — мать

не

догадается...

Тихая мелодия рождается словно из пальцев, мягко перебирающих клавиши.

...Светлеет степь. Умывается росой. Жаворонки звенят, они всюду в этом светло-синем небе — невидимые, как сам воздух. Медленно течет, поднимая округлые спины, овечья отара. Блеяние ягнят — нежное и жалобно-детское, не умолкая, движется за отарой, сливается с птичьими трелями. Неторопливо шагает безусый, молодой чабан. Сапоги у него потемнели от росы. Влажны и толстые лапы косматых собак.

Воздух прохладен и чист, напоен эфирно-полынной горечью, медовой сладостью чабреца, дыханием зеленых трав.

Прикрыв веки, музыкант играет, его руки слились с клавишами аккордеона, стали с ними заодно. Чуть приоткрылись губы.

Я знаю: зима не страшна—

Ты с сердцем орлиным,
 И будет отара цела
 К весне говорливой.
 И верю: с отарой придешь
 Домой в майский вечер,
 И, зная, что ты меня
ждешь,
 Я выйду к тебе навстречу.

Музыкант поет, негромко, для себя. Он
 весь ушел в эту музыку, в эту песню,
 соединил свои волнения и надежды с
 сердцем далекой и милой девушки.

Чабан, чабан,
 Ты в трудном и долгом пути.
 Чабан, чабан,
 Милее тебя не найти.

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ДОСКЕ

Не знаю, почему я свернул к доске объявлений. Шел в контору машинно-животноводческой станции, торопился попасть на прием к директору. И, уже подойдя к порогу, — круто свернул вправо, к этой самой доске.

На ней белело объявление.

Засохшие следы клея с приставшими клочками бумаги, едва приметные дырочки от кнопок наводили на мысль о ранее белевших на этой доске объявлениях, приказах, распоряжениях. И сколько людей, проходя мимо, вдруг сворачивали к доске, как я!

Всякое узнавалось из объявлений. Читая их, люди редко бывали безучастными, равнодушными. Да и как было оставаться такими, когда соседи механизаторы Прудовской машинно-животноводческой станции до срока отремонтировали все трактора, А их Комсомольская станция вон где — на третьем месте! Почему же на третьем?.. И отойдут от доски объявлений, станут за свое рабочее место в мастерской, а никак не успокоятся — почему на третьем? Начнут поминать Лабунина, главного инженера, что деталями не обеспечивает, доберутся до директора, а там до «Сельхозтехники», до всех, кто причастен к отставанию с ремонтом тракторов. Всех виновников припомнят, глядишь — и сами меньше перекуром за-

бавляются, больше у своего трактора возьмется.

Русский человек умеет не только чужие, но и свои промахи видеть, умеет с ними разделяться начисто.

Приглядываюсь к листу бумаги на доске, к чернильным строчкам. Сверху более крупно выведено: «Члены профсоюза, желающие приобрести путевки в страны»... Здесь, по всем правилам пунктуации, стояло двоеточие. Читаю то, что было за двоеточием:

«Румыния — Болгария...»

Чувствую теснение в груди, перехватывает дыхание, а перед глазами всего-то эти два слова:

«Румыния — Болгария».

Склоняются во мне на все лады.

...Стремительный Днестр. Расписные хаты молдавского села Буторы. Злобный самолетный гуд и нарастающий, как лавина, вой немецких авиабомб.

...Черные валы дыма, затопляющие село. Обугленные виноградные лозы.

...И вот он — карающий гром нашей артиллерии. Черный прах на полнеба. Яссо-Киши-невский удар по оккупантам.

Наши солдаты на румынской земле. Худые впалощекые деды в высоких барашковых шапках вытаскивают из колодцев цебарки такой ледяной воды, что солдаты, испив ее, только побрякивают да проводят тыльной частью руки по губам, по подбородку.

...Болгария. Желтая низкая стерня на полях. Жаркий печной воздух. Мягкая, как вата, дорожная пыль. Среди пекла — сочная зелень огородов. Красные, пунцовые гирлянды перца на крыльчиках, верандах, на стенах и даже на крышах.

И вот она — славянская речь! Ничто не могло погасить ее — ни века туретчины, ни лютость янычаров, ни религия Магомета. О единокровный народ — друг!

Твои солдаты идут по одним дорогам с нашими. Уже быются они с немецкими танками на заснеженной венгерской равнине возле Балотона, возле Секешфехервара...

Читаю объявление, и не скупые строки, а целые страницы прожитого раскрываются передо мной, картины за картиной.

«Румыния — Болгария...»

«Венгрия — Чехословакия...»

«Польша — Чехословакия...»

«Германская Демократическая Республика — Чехословакия...»

Мелькают названия месяцев, когда можно совершить поездку в ту или иную страну, на автобусе или по железной дороге, с отдыхом или не останавливаясь надолго в одном месте.

Объявление заканчивалось словами: «Срочно подавайте заявки в рабочий комитет товарищу Емцову».

И подают заявки. Едут в дружественные страны люди из далекого черноземельского рабочего поселка.

БЕЗЫМЯННАЯ БАЛКА

Гляну на степь — и припомнятся.

Было это давно. Попутно довели меня к стоянке чабана Стаценко. На иссушенной солнцем и ветрами равнине, до этого безлюдной, вдруг открылась округлая балочка с дощатым домиком на тележных колесах — чабанская арба, а позади нее рядом со срубом торчал колодезный журавль. На тырле, пережидая жару, сбилась отара.

Едва я выпрыгнул из кузова автомашины, как она покатила по склону балочки, выбралась из нее — и словно этой автомашины не было вовсе. Тщетны оказались все мои попытки опять увидеть машину, услышать ее гудение. Слепило солнце, вокруг сомкнулась тишина, и что-то неясное, тревожное вошло в меня.

Шли дни. Я мог считать, что обжился в степи. С утра до потемок ходил со Стаценко за отарой. Отдыхал по-чабански, присев на землю, а то и ложась на нее — горячую, как лежанка. Собаки, валясь на брюхо, не скалили на меня зубы. Познавал чабанскую науку о травах, угодных и негодных овце: «Це травяка овце, як нам борщ, може, як галушки, — пояснил Стаценко. — Це, — як котлеты». И мне не требовалось лучшего пояснения.

А неясная тревога не покидала меня, словно сидела в порах моей кожи, в клетках тела. Я старался не считаться с

нею, забыть о ней. Но безмерная степь, где мы казались единственными людьми, пробуждала тревогу. Она с неожиданной силой охватила меня, когда я, бездумно, шагая, отделился от стоянки и один очутился в степи.

Один.

Ничто не указывало место, где находилась балка с чабанским жильем на колесах, с колодезным журавлем над ним.

Куда идти?

Передо мной одна и та же поросшая полынью земля, и близко и далеко. Безлюдная, без жилья. Безразличная к тебе со всеми твоими заботами и тревогами.

Только ночью, по отсветам костра, я выбрался к чабанской стоянке.

.....
.....
.....

И снова — сколько лет спустя! — попал я сюда.

Та же безмерность. Та же полынная земля.

Как наяву встает передо мной Стаценко — высокий, худощавый, со сдвинутой на брови порыжелой кепкой. И так захотелось вновь увидеть чабана, услышать его неторопливую речь.

Но где его разыскать? В той безымянной балочке с колодцем?

Самому смешно стало. Теперь этих колодцев — сотни, и часто без деревянного журавля, — артезианские, самотечные. Подставь лишь водопойное корыто. Чабану какое облегчение! Отара не держится, как на привязи, возле колодца. Не сбивает в пыль пастбище вокруг него. Автоцистерны доставят воду к отаре, где бы ее ни пасли чабаны.

Может быть, где-то далеко от колодца, там, где трава, «як борщ, як котлеты», пасет свою отару Стаценко. Но я никак его не встречу.

РАССКАЗ БАНЩИЦЫ

Собираясь на Черные земли, я никак не замышлял такого рассказа. Признаться, даже не предполагал о возможности самой встречи с баней и банщицей. Совсем это не

черноземельская тема.

— Сегодня никуда не поедем,— сказал главный ветврач машинно-животноводческой станции. И, заметив мое недоумение, тут же пояснил: — Забыли, какой день? Суббота. Побаниться не хотите?

Вот так я попал в баню. А в предбаннике увидел немолодую полную женщину с теплым шерстяным платком на голове. «Видать, собственного рукоделья»,— глядя на спицы в ее руках и моток ниток, подумал я.

От нее и услышал я этот рассказ.

— Вы про расход воды спрашиваете? А не приходилось мне ту воду замерять. У нас нет такой моды. Заходи — купайся на здоровье. Мера тут — сам человек. Одному часу ма-

ло, никак с тазом не расстанется, а другой — хлюп-хлюп — и выбег... Ну, вру, разок обратила внимание. Что-то с водяной цистерной не ладилось, послали бензовоз. Вертается он полный под самую крышку. Слил шофер воду. И только подогрелась вода — набежало полтора десятка баб. «Никифоровна! — кричат на все голоса. — Можно?» Ну, а мне что в ответ: «Мойтесь! — кричу в свою очередь. — На то баня!»

Начали тут мои бабоньки мыться, оханьки да аханьки пошли. Ну, бабы же: сошлись в кучу — языкам волю дали, отводят душу. Моются, а сами та-та-та да та-та-та. Все разом и говорят и слушают. С ними и мне веселей, про спицы забыла. Така же баба... Когда кричат: «Никифоровна! Воды чегой-то нема!» Тю, думаю, куда же она девалась? Побегла до того, до котла. Верно — выхлюпали воду. И бензовоза моим бабонькам не хватило! А в бензовозе — две тыщи литров, а то и поболее. Пятнадцать баб всю ту воду расхлюпали.

Обратила я тогда вниманье. Как же!

Теперь этой воды на все хватает. А бывалочи, чтобы побаниться — чабаны ездили кто его знает куда, к себе в село.